**ГРУППА 3**

**ДОРОГА К ДОМУ**

Говорят: жизнь на дорогах. Под этим подразумевается тот заряд эмоционального воздействия, те впечатления, которые человек получает в пути. Даже наша обыденная повседневная формула «дом — работа» была бы неполна, если бы между этими важными и главными компонентами нашей жизни не стояло маленькое тире — дорога. Что же говорить, когда это маленькое тире превращается в долгую линию, уводящую нас за горизонт... Да, дорога за горизонт — это прекрасно! Она и манит, и обещает, и волнует. Как-то иначе бьется сердце, острее становятся глаза, и чувствуешь, как за спиной прорезаются крылья. Воистину, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Мне довелось увидеть многое. Видел Кызылкумы — Красные пески, где, несмотря на сорокаградусную жару, местные ребятишки, черные, как стручки акации, гоняли мяч, норовя забить его между двух флегматично дремлющих верблюдов, служивших им футбольными воротами. Всходил на заснеженные перевалы Джунгарского Алатау, за которым из-под ладони виделся Китай. Пробирался девственными борами Беловежской пущи, напоенными такой хрустально-звонкой тишиной, что далеко слыхать, как, падая, стучит по сучьям сорвавшаяся шишка. На таежных увалах Сибири рвал охапками жарки, факельно пылающие в нетронутых травах. Пил воду Сырдарьи и Северной Двины, Кубани и Волги, Тихого Дона и знаменитой Непрядвы на Куликовом поле, пил из Енисея и Ангары, из Онеги озера и священного моря Байкал. Входил под арку Золотых ворот во Владимире и под арку Зимнего дворца, безмолвно стоял перед невянущими фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и заглядывал в ссыльную келью опального патриарха Никона в Кириллове Белозерском. Преклоненно замирал в залах Третьяковки и, ошарашенный, смятенный, и в то же время с гордым чувством за величие человеческого духа уходил из Эрмитажа...

А как волнующа одна только Москва, уже исхоженная вдоль и поперек, почти что обжитая за многие наезды. Просты ее улицы — большие, рекоподобные, и малые, ручейково-причудливые в своих извивах — эти Столешников переулок, Сивцев вражек или какой-нибудь проезд Соломенной сторожки. Это вдруг открывшийся в тени липовых бульваров непокрытый Гоголь в дорожной накидке, легендарный дом Ростовых или арбатская церковь, где венчался вдохновенный и полный надежд и замыслов Пушкин с блистательной и тонкой, как белая шахматная королева, Натали... Да что там! Всего не передать. И вот всякий раз — наездишься, насмотришься, наудивляешься, голову распирает от впечатлений, приходит момент, когда ноги и глаза уже отказывают: ноги не несут, а взгляд начинает скользить по поверхности — и вдруг неудержимо, ностальгически, с каким-то подскуливанием души захочется к себе, домой, в Курск. Вглядитесь в полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына»: право, приходит такое состояние, которое наиболее полно схвачено и запечатлено в этой картине, где древний и добропочтенный старец-отец, положивший свои добрые руки на спину беглеца, в такие минуты всегда ассоциируется в моем сознании с обликом родного города. ...Как-то поспешно, уже отрешенно бросаешь в чемодан неизрасходованные рубахи, надоевшие галстуки, без сожалеющей оглядки захлопываешь московский гостиничный номер и с тайной вожделенностью выкрикиваешь таксисту: «На Курский!» В эту минуту он — лучший из всех вокзалов. Многие едут в том направлении — туляки, орловцы, белгородцы и далее — во многие города и веси российского юга, Украины и даже всего Кавказа и Закавказья, но вокзал все же назван не «Тульским», не «Орловским», даже не «Кавказским», а почему-то в угоду твоей душе: «Курский», и все тут! Нетерпеливо топчешься на четвертой платформе в ожидании поезда, тоже лучшего из всех поездов, потому что на его занавесках видишь силуэт курского соловья, нашего птичьего полпреда в столице, а когда, наконец, подадут состав и ты предстаешь перед проводницей, учтиво обтирающей чистой тряпкой поручни, она, эта иногда не в меру тучноватая тетенька, кажется тебе наипервейшей красавицей и чуть ли не сестрой родной. А говор ее, наш, черноземный, где каждое «г» как будто обернуто бархотцей, звучит почти что откровением. И весь мчащийся поезд полон этого умягченного говора — наши едут, свои, куряне. И отдыхает душа, и умиротворенно смежаются веки... Спишь безмятежно, раскованно, почти забывчиво, потому что знаешь: поезд фирменный, никуда тебя, сонного, не завезет, кроме как до родного порога. Но это только пока едешь по незнакомым местам, мимо станционных надписей: «Щекино», «Горбачево», «Мценск», «Змиевка», «Глазуновка»...

Казалось бы: устал, намаялся, спи себе, посапывай под убаюк колес, ан нет же, на рассвете будто кто дернет тебя за вихор, и ты поспешно тянешься рукой к занавеске. Поезд стоит, тишина, меркло светит станционный фонарь, и в полусвете его читаешь азбучные буквы, каждую на отдельном квадратике: «Поныри». Азбучная надпись еще и потому, что слово «Поныри» знают у нас, на огненной земле, даже малые дети... И все: сна как не бывало. Завертелись, заклубились думы, воспоминания: Курская дуга. Сколько ни езжу мимо, но всегда это краткое слово «Поныри» сжимает сердце колючей проволокой окопа. Хватаешься за сигареты и уже до самого конца выходишь в коридор. Смотришь, еще и еще кому-то не спится, кто-то вышел в коридор, к окошку.

А за окном уж заиграл рассвет, вызолотилась намеком дня дальняя полоса над горизонтом, и заворочалось, заходило ватное одеяло тумана над сонной землей. Выбелилось спелое поле пшеницы с мокрым комбайном, прикорнувшим в четкой дреме на часок другой — до первого луча солнца. Промелькнуло безлюдное, предрассветно-сонное село под купами обмякших ракит, потом — одинокая будка с заспанной молодайкой в желтом жилете и с желтым свернутым флажком. А рядом с будкой на веревке — детское бельишко, две-три яблоньки с отяжелевшей антоновкой в пыльных усталых листьях, грядка капусты... Бог ты мой, капуста! — умиляешься ты, вовсе забыв за всякими экзотиками, что на свете есть простая курская капуста... И вот уже перед глазами сизый, осыпанный росой лужок, где наверняка об эту пору за стуком поезда неслышно для нас орут коростели, подушно делят покосы. А тут уж громыхнул железный мосток через полоснувший отсвет зари извив речушки с неказистым ивнячком на излучине, и как раз в эту минуту, чтобы смутить тебя окончательно, беззвучно вспухла вода и разошлась кругами от взыгравшей рыбины. И запоздало признаешь: да это же, черт возьми, Тускарь! Ну как же, вон и та самая кручка, с которой не далее, как этой весной, ловили голавлей на выползка. И глядишь, глядишь, поздно спохватившись, выворачивая шею и вдавливаясь щекой в стекло: Тускарь же! Что там Сырдарья! Какая Сухона! И не знаешь сам, как и когда без слов запоется: На дальней станции сойду, Трава по пояс... Ну, а от Свободы до дома — рукой подать. **Начинает бугриться тускарное заречье, далеко, аскетично, в перламутровой пустоте неба одиноко выбелилась Акиманная церковь, следом выгнулась дугой насыпная плотина будущего моря, вагон ожил, застучал лавками, заклацал дверьми: Курск! Нет! Еще не вокзал. Пока только все те же заречные кручи, но уже в высотных башнях домов, то тут, то там вырвавшихся из зелени.**

**Город на горе, город на заре,— просятся стихи. Я не знаю здесь, в центре России, других таких городских высоко вознесшихся силуэтов. Тула? — нет, ровна, как столешница. Орел? — тоже нет. Разве что Киев, который некогда срубил и наш Курск себе в подобие. И мы горды, что нам сегодня 950. Впрочем, это ведь только летописное упоминание. Наверняка нам тысяча, а то и за тысячу. Кто теперь знает точно... Знаем только, что когда в самом начале XI века отрок Феодосий ушел из Курска, чтобы стать игуменом Киево-Печерской лавры, а затем остаться в веках одним из первых наших любомудров и просветителей, в Курске уже были книги. Стало быть, были и полки для книг, а над полками — крыша, а крыши — это уже город... И стоял он, высокий, теремной и башенный, как раз на самом лезвии хребта между Тускарью и Куром. Как раз там, на княжеском подворье, колыхались копья и пики дружины буй-тура Всеволода, уходившего в знаменитый степной поход. Именно оттуда, с тех курских высот, прозвучало гордое Всеволодово слово: «А мои ти куряне сведомы кмети: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копия вскормлены, пути им ведомы, яругы им знаемы, луци у них напряжены, тули отворены, сабли изострены, сами скачут, аки серы волци в поле, ищучи себе чти, а князю славы».** Проходили века, менялся облик города, принимал другие очертания его водораздельный силуэт. Был он крепостным оплотом Киевской Руси — нагрянул Батый, спалил все дочиста. Потом пришли стрельцы и пушкари, отстроили все наново, и стал он оплотом Руси Московской... Но ни в какие века так не менялся Курск своим лицом и душой, как в наше, советское время, а точнее сказать, за послевоенные годы. Многие куряне, живущие в других концах страны, скажем, лет двадцать, уже с трудом узнают его улицы. А такие, как улицу Ленина, или Радищева, или, допустим, Энгельса и Карла Маркса вовсе не узнают. А разве узнать наше Завокзалье или рышковское Засеймье? Я ведь еще помню это довоенное Засеймье тридцатых годов. То были просто деревеньки: Ламоново, Рышково, Цветово, Гуторово... Неказистые соломенные деревеньки, с плетнями, плетневыми хлевами, с серо одетыми бабами и мужиками. От города их отделяла речная уремная чащоба, через Сейм был переброшен хилый деревянный мосток. В ночь они собирали свои возки на воскресный базар, к рассвету по булыжной мостовой взбирались на Белую гору (ныне многоэтажная улица Энгельса) и, тряся и соря сеном, полоша сонные пригородные улицы кегеканьем гусей, скрипом колес и цоканьем копыт косматых низкорослых лошаденок, спешили по Дзержинской, по Красноармейской на Покровский рынок. Да и сам город, честно сказать, не ахти как выглядел в те годы. Давайте мысленно уберем все, что мы настроили за последние два десятка лет, а вместо этого поставим прежние мещанские домочки и купеческие потуги на жалкую двухэтажную респектабельность. 29 Сдерем до булыжника весь асфальт, посыплем сверху конским навозом и сенной трухой, ибо булыжные улицы мести метлой было просто невозможно и их время от времени смывали лишь летние ливни. Давайте к этому прибавим темень и грязь заштатных улиц и переулков, подслеповатые лавчонки, пропахшие рогожей и керосином, натыкаем пожарных вышек, которые, однако, не избавляли город от пожаров, служивших захватывающим зрелищем для босоногих курских мальчишек. Хилые предприятьица, жестяной трамвайчик, еще не ходивший к вокзалу и едва пробивавшийся к Барнышовке... Это город в первую свою пятилетку. А что же тогда было до революции? Гляжу на старые фотографии Курска. На Красной площади, где ныне чистота, торжественный порядок, голубые ели и памятник Владимиру Ильичу, на этой самой площади неопрятно, муравейно копошатся людом обжорные ряды, а возле собора, где ныне кинотеатр «Октябрь», идет богослужение. Толпа попов в расшитых рясах, дымят кадила, напряженные лица поющих дьяконов. Странно, невообразимо, дико себе представить это на нашей главной площади! Нет, я не открещиваюсь от прошлого, время отсеяло в нем много хорошего, чем можно поистине гордиться. Но я живой человек, и мне свойственно и естественно любить все живое, настоящее, сегодняшнее. А следовательно, и все то, что грядет завтра. Я люблю утро. Вот оно встает над родным городом. В окнах домов, пока только самых последних этажей, воссиянно отражается взошедшее солнце. И кажется, будто город открывает глаза и еще издали приветно всматривается в бегущий в его объятия поезд. Здравствуй, Курск! Тенистая прохлада! С дороги пыль стряхну: Я не был столько дней... Все повидал, Но ничего не надо Взамен тебя, Твоих родных камней